

КНИГА, РАЗРУШИВШАЯ НЕМЕЦКУЮ «СТЕНУ МОЛЧАНИЯ».

— TIMES



РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ

МОЯ ЮНОСТЬ
ПРИ ГИТЛЕРЕ

ХОРСТ
КРЮГЕР

Хорст Крюгер
Разрушенный дом. Моя
юность при Гитлере
Серия «Феникс. Истории
сильных духом»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67864935
Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере:
ISBN 978-5-04-171808-4*

Аннотация

В 1965 году журналист Хорст Крюгер посетил Освенцимский процесс во Франкфурте, где шел суд над 22 бывшими лагерными охранниками, виновными в истреблении около миллиона человек – стариков, женщин и детей.

Этот суд стал поводом для Крюгера вспомнить свое детство и юность в 1930-х годах, когда набирал силу нацистский режим. Он вырос в тихом одноэтажном пригороде Берлина, где жили размеренной обыденной жизнью, где соблюдали закон и верили в Бога. Он был типичным ребенком добропорядочных аполитичных немцев, которые никогда не были нацистами – но без которых нацисты не смогли бы совершить свои злодеяния. Постепенно, шаг за шагом, режим Гитлера уничтожает страну, и вместе с этим – семью самого Крюгера.

Первоначально изданный в 1966 году, «Разрушенный дом» – это удивительная смесь репортажа, эссе и мемуаров, болезненная и в то же время смелая попытка поднять вопросы коллективной травмы, памяти и ответственности. Искусно написанная и обеспечившая автору литературную славу, книга показывает «дух времени» и рисует беспристрастный портрет поколения во времена Третьего рейха.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Городок как Эйхкамп	6
Реквием для Урсулы	47
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Хорст Крюгер

Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере

Пишущий правду, разумеется, должен вести постоянную борьбу с неправдой, но правда не должна у него превращаться в нечто многозначительное, высокопарное и абстрактное. Ведь именно неправде свойственны многозначительность, высокопарность и абстрактность.

Бертольт Брехт

© Лыкова Е.А., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Городок как Эйхкамп

Берлин – бесконечное море домов, в котором постоянно тонет целый поток самолетов. Это огромная серая скалистая пустыня, всякий раз меня восхищающая, стоит мне вновь туда попасть: Магдебург, Дессау, Бранденбург, Потсдам, зоопарк. Там возводятся метро с быстрыми поездами и автомагистрали; строятся сложные автотрассы и дерзкие телебашни. Это все новый, современный Берлин, техническая карусель изолированного города, которая кружится, управляемая изнутри сдержанным, лаконичным остроумием жителей, а снаружи – капиталом. Он красив и лучезарен, этот новый Берлин, но только тогда, когда я сижу на довольно пустой железнодорожной станции, а на запад несутся грязь и запустение из ГДР, я действительно чувствую себя дома.

Вот мой Берлин, ревущая, поющая греза моего детства, моя оставшаяся неизменной железная игрушка, которая, кажется, все еще говорит своим ясным, торопливо чеканящим голоском: ты здесь, ты действительно здесь, так всегда было, так всегда будет. Берлин – это отполированная до желтизны деревянная скамейка, твердая и начищенная до блеска, это забрызганное дождем грязное окно, это купе, в котором невыразимо пахнет железной дорогой. Это смесь из застывшего дыма, железа и тел рабочих, которые приходят из района Шпандау, набивая животы хлебом с маргарином. Ко-

гда-то в четырнадцать лет они побывали на конфирмации, а теперь каждый день читают утреннюю прессу. Берлин – все вышеперечисленное, еще грошовый автомат на продуваемой платформе, из которого можно достать мятные пастилки: белые и зеленые, завернутые в жесткую фольгу. Это стук электрических дверей и крик на вокзале Весткройц: «Осторожно, двери закрываются!» Никого это больше не пугает, никто не препятствует закрытию дверей, но объявление все еще здесь, и человек с сигнальным диском, и затем внезапный рывок с места. Берлин – это убогий желтый билет за пятьдесят пфеннигов. И сегодня за пятьдесят пфеннигов все еще можно добраться из Шпандау до столицы ГДР.

Я сижу в электричке, чтобы доехать до Эйхкампа. Я знаю, Эйхкамп не то, что нынче годится для темы репортажа. Вот сообщения о Берлине очень востребованы: напишите нам доклад о Берлинской стене или новой филармонии, о зале для конгрессов или рождественском рынке на той стороне улицы. Подобные темы всегда желанны. Но Эйхкамп? Что это такое? Что это значит? Он не указан ни в одном каталоге достопримечательностей Берлина; ни одного чернокожего вождя и ни одного американца, который прибыл через океан, чтобы счесть улицу Курфюрстендамм восхитительной, а Берлинскую стену отвратительной, не повезут в Эйхкамп. В сущности, в Эйхкампе нет ничего интересного, это всего лишь маленький, незначительный поселок между Нойвстендом и Груневальдом, такой же, как бесчисленное коли-

чество таких же поселков на окраинах большого города, где море домов медленно растворяется в лесах и сельских просторах. Собственно говоря, Эйхкамп – просто мое воспоминание. Это место, где прошло мое детство. Здесь я вырос, играл на улице в камушки, в прыжки, в классики, ходил в школу, а позже возвращался сюда из университета, чтобы поесть и поспать. Эйхкамп – это просто-напросто моя родина, которую я – чужак – хочу снова увидеть более чем двадцать лет спустя.

Я возвращаюсь как гражданин ФРГ. На сегодня я оставил свою работу и свою машину, весь свой собственный мир; я возвращаюсь один, но вовсе не потому, что считаю поиск воспоминаний детства успокаивающим и приятным занятием для взрослого человека. Какая отвратительная страсть для пожилого – впадать в детство; какое непристойное занятие для старика, который с трепещущим сердцем сидит на детских площадках, словно нашел тут тайное райское местечко. Эйхкамп не был для меня раем, и мое детство не было безоблачным. Эйхкамп был моей юностью при Гитлере, и я хотел бы его еще раз увидеть и наконец-то понять, как же там тогда жилось, во времена Гитлера.

Минуло не одно поколение. Все, что относилось к Третьему рейху – факельное шествие по улице Унтер-ден-Линден, звучащее по радио ликование, упоение обновлением, – всего этого больше нет, все прошло и забыто. Даже талоны на хлеб, и бомбы над Эйхкампом, и гестапо, порой приезжав-

шее из центра города на черных машинах, – все это тоже давно забыто. Я так полагаю, теперь-то можно было бы суметь все понять. Теперь уже прошла целая жизнь: восторг и депрессия стихли, все стало совсем по-другому. Я гражданин ФРГ, я приехал из западной части, я еду в Эйхкамп, потому что меня мучает вопрос, как вообще жилось в те времена, которые мы все сегодня больше не в силах понять. Я полагаю, теперь-то уж можно в этом разобраться.

Возвращение в Эйхкамп мне порой снится. Эти сны тяжелые и страшные. От них я просыпаюсь около шести утра весь разбитый. Тридцать лет – это долгий срок, смена целого поколения, пора забыть прошлое. Почему же я не могу забыть?

Сон такой: я прибываю в Эйхкамп и стою перед нашим домом. Все стены в глубоких трещинах: дом пострадал от бомбежки. Маленький двухэтажный секционный дом на окраине Берлина, дешево и быстро построенный в двадцатые годы. Сейчас все наспех отремонтировано: хлипкие двери и окна, шаткий деревянный пол. В отцовском кабинете сидит моя мать и читает отцу вслух книгу. Эта комната маленькая, с низким потолком и обставлена в том неопишимо эклектичном стиле, который в те времена звали бюргерским: склад барахла, обставленный семейными реликвиями старых добрых времен. Круглый грибообразный столик с кружевной салфеткой, торшер с абажуром, дешевый сосновый письменный стол, угловатый и окованный латунными гвоздями. На потолке непомерно массивная люстра с длинными

ми, низко свисающими хрустальными подвесками: семейная ценность из Буккова. Почти треть комнаты занимает огромный дубовый шкаф: еще одно семейное достояние из Штрау; мы его называли «шкафом в стиле барокко». Мой отец безучастно сидит за своим покрытым черным лаком письменным столом. Как всегда, перед ним разложены документы, как всегда, он чешет голову, свое «ранение»: Верден, 1916-й. Моя мать опускается в засаленное кресло, из которого торчит набивка, за тем самым круглым столиком; его мы звали «клубным креслом». Слабый свет лампы падает на книгу. Руки у нее узкие, длинные хрупкие пальцы нервно скользят по строчкам. У нее католические глаза: темные, доверчивые, выпученные и немигающие. Ее речь звучит словно проповедь. Она читает вслух книгу под названием «Моя борьба». На дворе конец лета 1933 года.

Нет, мои родители никогда не были нацистами. Вот почему этот случай кажется мне таким подозрительным. Они читали эту книгу господина нового рейхсканцлера с округлившимися от удивления глазами, как у детей. Читали со страхом и ожиданием: должно быть, в этом заключалась чудовищная немецкая надежда. У них не было никаких других книг, только адресная книга Большого Берлина, Библия да один роман их молодости, популярный за двадцать лет до войны. Кроме этого, еще они слушали оперетты Пауля Линке, «Фрау Луна» и прочие, и в День святого Силь-

вестра «Летучую мышь» в Адмиралспаласте¹, да еще порой концерты по заявкам по радио; в крайнем случае увертюру «Донны Дианы». Мои родители были утешающе аполитичны, как и почти все эйхкамповцы в те времена. За двенадцать лет власти Гитлера я не встречал в Эйхкампе ни одного настоящего нациста. Именно это и тянет меня назад. Там жили сплошь послушные, прилежные семьи состоятельных граждан, несколько ограниченные и недалекие, представители среднего класса, пережившие ужасы войны и страсти инфляции. Теперь им хотелось покоя. В начале двадцатых люди стремились в Эйхкамп, потому что это был новый зеленый участок. В здешних садах еще росли сосны, до озера Тойфельсзее можно было добраться всего за четверть часа. Там дети могли купаться. Люди хотели выращивать в огороде овощи. В выходные жители с удовольствием поливали газон. Пахло здесь почти как на лоне природы. В городе в то время стояли золотые, безумные двадцатые годы: люди танцевали чарльстон и скоро начали отбивать чечетку. Там начали свое триумфальное шествие Брехт и Эйнштейн. Газеты сообщали об уличных боях в Веддинге², стычках на баррикадах возле здания профсоюза. Все это нас не касалось, мы словно были оторваны от века. Ужасные, непостижимые

¹ Адмиралспаласт («Адмиральский дворец») – культурно-развлекательный центр на Фридрихштрассе в берлинском районе Митте, сохранившийся с начала XX столетия. (Здесь и далее прим. ред.)

² Веддинг — район Берлина в составе округа Митте.

случаи нарушения общественного спокойствия. В Эйхкампе я рано усвоил, что порядочный немец всегда аполитичен.

Когда электричка прибывает на вокзал Эйхкампа, меня охватывает странное чувство. Вспомнить, забыть, снова вспомнить, годы сменяют друг друга: что это такое? То, что ты сейчас делаешь, тебе не в новинку, ты уже делал это однажды, всегда повторяется одно и то же: встаешь с отполированной до желтизны скамейки, берешь свои вещи с сетчатой полки, протискиваешься мимо незнакомцев, хватаешься за латунную ручку двери – большой палец сверху, затем медленно тянешь ручку направо, распахиваешь дверь. Чувство храбрости. Когда электричка резко несется к краю платформы, выходишь наружу, воздушный поток резко ударяет тебя в лицо, и тогда, пока вагон еще медленно катится, испытываешь огромный соблазн спрыгнуть. Я знаю, что это запрещено, – так написано на двери, это было запрещено еще при Гитлере, но сейчас я вновь ощущаю этот соблазн, столь неукротимо привлекавший меня еще в бытность учеником третьего класса гимназии. Если спрыгнуть в нужный момент и двигаться за счет центробежной силы, можно благодаря инерции одним прыжком сразу оказаться на лестнице, первым добраться до прохода, первым выбраться на зеленую площадь, первым оказаться на дорожке, ведущей к поселку.

За тобой неторопливо идут эйхкамповцы. Пара мужчин с портфелями, инспекторы, служащие, чиновники, пожилая женщина в платье в крупный цветочек, ездившая за покуп-

ками в Шарлоттенбург или район зоопарка, уставшая и вперевалку бредущая к какому-нибудь маленькому домику; молодая девушка, приехавшая в гости к тете. Молодые парни с футбольными бутсами под мышкой, сразу сворачивающие направо, потому что там находится спортплощадка. Раньше они одевались в синие футболки. Это были еврейские мальчишки, ходившие тут, в Эйхкампе, на спортплощадку сионистов.

Ну, да что за время? Что вспоминать? Как так может быть, что ты сейчас повторяешь все так, словно тебе снова четырнадцать? Четыре года посещал начальную школу в Эйхкампе, девять лет – гимназию в Груневальде, в течение девяти лет каждый день спрыгивал с электрички, а над Эйхкампом реяла свастика; сперва скепсис, потом радостное согласие, поскольку у нас все снова шло в гору. Уехали Катценштейны, Шиксы и Виттковски. Никто этого даже не заметил. Это были наши хорошие евреи; плохие жили вокруг Алекса.

Каждый эйхкамповец считал по меньшей мере хотя бы одного еврея хорошим человеком. Моя мать предпочитала еврейских врачей. Мол, они такие чуткие. В то время в Эйхкампе жил Арнольд Цвейг. Модная плоская крыша его дома не соответствовала немецким стандартам, и после его бегства ей сразу добавили германский торец. Людвиг Маркузе жил в трех домах от нас и в 1933-м тоже сбежал. Никто даже внимания не обратил. Напротив нас жила Элизабет Ланггессер. Она иногда заходила к нам, чтобы послушать радиостан-

цию «Беромюнстер». Она всегда говорила, что через три-четыре месяца Гитлер «прогорит». Мол, это же очевидно. Она верила в это двенадцать лет. И была убеждена до самого конца.

И затем день первой продовольственной карточки. 1 сентября 1939 года. Я стою перед магазином и внезапно не могу больше купить то, что хотела моя мать. Масло по rationу, хлеб по карточкам. Эйхкамповцы раздраженно заглядывают внутрь. Разве не так было в 1917-м? Затем первый самолет. Я стою в саду и слышу, как в воздухе с ревом проносятся три английских самолета. Ланггессер подходит к забору. Она маленькая, коренастая, по-французски покрашенная и носит очки в роговой оправе с толстыми стеклами. Когда она идет по нашей улице, дети кричат ей вслед: «Вот идет размалеванная девица, вот идет размалеванная девица!» И Ланггессер говорит мне:

– Это наши освободители, Хорст, уж поверь мне, – и при этом, близоруко моргая, критически смотрит на небо.

А затем бомбежка над поселком, потом русские, которые тут тоже стреляют, тоже вламываются в дома, тоже говорят: «Госпожа, пройдемте с нами!» Разве Эйхкамп заслужил такое? Затем пришли англичане и голодные годы, подремонтированные дома, время расцвета черного рынка, денежная реформа и блокада, и потом дела в городе постепенно пошли к лучшему.

Странное дело – сейчас Эйхкамп опять такой же, как

раньше. Словно ничего не произошло, словно все это было просто дурным наваждением, кошмарным сном, ошибкой истории. Ошибку давно исправили. Старые секционные дома, между которыми приютилась парочка новых бунгалов. Старые дома узкие и высокие, стены покрыты желтым строительным раствором, высоко опутаны дикими лозами. Сады, сады Эйхкампа – это все еще Берлин? Опять пышно цветет сирень, сине-фиолетовая и белая, из палисадника доносится аромат жасмина. На клумбах гладиолусы, прямые как свечи, рядом клубника и лук, укроп для готовки, салат, кольраби, краснокочанная капуста и кервель, позади сосны, бранденбургские сосны с высокими, узкими, упругими стволами. Даже радиобашня на месте, и где-то цветут липы. «Вечно благоухают липы». Разве не в Эйхкампе я прочел это в первый раз?

Я почти готов расплакаться. Естественно, я ведь еду домой. Как это всегда бывает, когда через десятилетия возвращаешься домой: все теперь кажется меньше, дома, сады, улицы – как вообще можно было жить за такими крошечными окнами? А мясник Шмидт все еще продает свои колбаски и фарш, хотя из него уже песок сыплется, а пекарь Лабуде, он тоже по-прежнему ведет свое дело, его лавка тоже пережила все невзгоды. Я всегда ходил к нему покупать улиток за пять пфеннигов: это были такие маленькие, круглые плюшки в форме спиралей, а по выходным я мог купить медовый пирог биненштих: четыре куска по десять пфеннигов. Это

было наше воскресное кафе.

Я снова иду по тем же улицам, что и прежде: Флидервег, Лерхенвег, Бухенвег, Кифернвег, Фогельхерд, – ведущим в Эйхкамп. Все это узкие, изящные улочки и по сей день без тротуара, и все так же освещенные газовыми фонарями крошечные домишки с узкими палисадниками, зелеными ставнями на старомодных окнах, а за ними – сплошь послушные, простодушные люди, усердно занятые своим ремеслом, своим делом, своей канцелярской службой. Эйхкамп был миром хороших немцев. Их горизонт простирался лишь до зоопарка и Груневальда, до Шпандау и Тойфельсзее – но не дальше. Эйхкамп был маленьким зеленым космосом. Что тут вообще забыл Гитлер? Тут народ голосовал только за Гинденбурга³ и Гугенберга⁴.

И внезапно я уже здесь. Но тут ничего нет. Тут только дыра: обломки, истлевшее дерево, осколки камней, куча песка и везде зелень; внизу, в подвале, лежит помятый чемодан. Подвал, заросший, запущенный, забытый, – пережиток ве-

³ Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорфунд фон Гинденбург (1847–1934) – немецкий военный и политический деятель. Видный командующий Первой мировой войны: главнокомандующий на Восточном фронте против России, начальник Генерального штаба. Прусский генерал-фельдмаршал. Рейхспрезидент Германии.

⁴ Альфред Эрнст Кристиан Александр Гугенберг (1865–1951) – влиятельный немецкий бизнесмен и политик, создатель медиаконцерна Гугенберга. Рейхсминистр первого кабинета Адольфа Гитлера в 1933 году, после войны был признан «попутчиком», не несущим правовой ответственности за нацистские преступления.

ликой войны, разрушенные остатки после боев в Берлине, руины дома, какие можно найти возле сияющих, экономических новых построек. Повсюду есть еще подобные пустоши, белые пятна на карте нашего нового немецкого благополучия. Владельцы их погибли или пропали без вести, живут за границей, забыли о прошлом, не хотят больше о нем вспоминать. А я стою тут и думаю: вот оно, твое прошлое, твое наследие, которое тебе оставили. Здесь ты вырос. Это был твой мир. Объем площади едва ли превышал тридцать квадратных метров, тут когда-то стоял наш дом, два этажа, и сверху еще скудно обставленная комнатка для служанки. В 1923 году в эти тридцать квадратных метров привезли трехлетнего тебя, и, когда ты в последний раз входил в этот дом, тебе было двадцать четыре, и ты был немецким старшим ефрейтором в 1944 году. Ты прибыл с итальянского фронта. Ты привез бензобак: двадцать литров. Ты притащил с войны двадцать литров оливкового масла, и после того, как мы поели жареный картофель, который смогли приготовить благодаря этому дорогому маслу, всем нам стало плохо. Нас стошнило. Блюдо получилось слишком жирным. Мы не смогли побороть рвоту. Мы – в те времена это обозначало моих родителей и меня. Моя сестра покончила с собой еще в 1938-м.

Итак, я снова дома. Я в Эйхкампе. Я стою перед нашим участком, опять цветут липы, и я думаю, что если бы я сейчас смог понять все, что происходило в этом доме, то уяснил бы, как жилось в те времена – при Гитлере и немцах.

Где-то в Шарлоттенбурге должно быть кадастровое управление, где в земельно-кадастровой книге стоит твое имя. Уж несомненно. Тебе принадлежат руины, этот подвал, и если бы ты смог вспомнить, дом снова стоял бы: этот бесцветный, пустой, ужасный дом представителей среднего класса, чьим сыном ты являешься. Мне даже немного стыдно быть родом из этого узкого, заросшего дома. Лучше бы я был сыном ученых или рабочих, лучше бы я был сыном Тельмана или Томаса Манна – вот это были передовые люди, но я родом всего лишь из Эйхкампа. Я типичный сын тех безобидных немцев, которые никогда не были нацистами и без которых нацисты никогда не смогли бы повернуть свои делишки. Так оно и есть.

Вспомнить, вспомнить, как же все вспомнить? Мое самое раннее воспоминание о Гитлере – это ликование. Я сожалею об этом, поскольку историки сегодня лучше знают, как все было, но я сперва слышал лишь восторг. Он был не в Эйхкампе. Он был по радио. Из далекого, чужого города Берлина, с улицы Унтер-ден-Линден и от Бранденбургских ворот, до которых из Эйхкампа можно было доехать на электричке за двадцать минут. Вот как далеко это было.

Стояла холодная январская ночь, шло факельное шествие, и диктор по радио, который громким голосом не столько сообщал, сколько пел и всхлипывал, переживал нечто неслыханное. На улице Прахтштрассе в столице рейха царил неопишуемая радость, и все добропорядочные, все

настоящие и молодые немцы шли единым потоком, чтобы, как я услышал, присягнуть на верность пожилому маршалу и его молодому канцлеру. Они оба стояли у окна. Словно аллилуйя избавленных: Берлин, торжество, Берлин, весенняя сказка нации. Песня, марш, радостные крики, разгул, а затем снова всхлипывающий голос по радио, распевавший что-то о пробуждении Германии и, как рефрен, добавлявший, что теперь все будет по-другому.

Эйхкамповцы были настроены скептически. Мои родители слушали все это с изумлением и даже страхом. Столько счастья и величия не вмещалось в нашу узкую комнатенку, обставленную всяким барахлом и старинными украшениями. Уже после одиннадцати мой отец отвернулся и, несколько растерянный, пошел спать. Что же открылось? Что за миры были там, снаружи? Но пожилой маршал и его молодой канцлер, сейчас чаще носивший фрак, и то, что отныне и впредь называлось кабинетом национальной концентрации⁵, позже стали надеждой и для Эйхкампа. Скептики успокоились, равнодушные задумались, мелкие дельцы преисполнились надежды. Внезапно в этот маленький зеленый оазис аполитичных людей ворвалась буря большого мира, не политики, но весны и немецкого обновления. Кто же не хотел поднять в ней свой парус?

⁵ В 1933 году в доме банкира Шредера было принято решение о создании «кабинета национальной концентрации»: Гитлер получил от финансовых магнатов и промышленников огромные субсидии, облегчившие ему приход к власти.

К черно-бело-красным знаменам, теперь куда чаще вывешиваемым эйхкамповцами, чем черно-красно-золотые, добавились знамена со свастикой, много маленьких и больших, часто вышитых своими руками знамен с черной свастикой на белом фоне. Некоторые в спешке вышили свастику, загнутую не в ту сторону, но они явно старались. Было время обновления, и однажды моя мать пришла домой с маленьким треугольным флажком и сказала:

– Это для твоего велосипеда. Сейчас у всех мальчишек в Эйхкампе на велосипедах такие красивые флажки.

Она считала, что все, что она делает, естественно, было совершенно аполитично. Просто сейчас царит возвышенная, праздничная атмосфера. В Потсдаме пожилой маршал и его молодой канцлер обменялись историческим рукопожатием: гарнизонная церковь, Гогенцоллерны, старые знамена и штандарты прусского режима, все такое благочестивое. И потом торжественно-возвышенная песня хорошего товарища, он шел с моей стороны – тут моя мать подошла к Герману Титцу, который, вообще-то, был евреем, и купила первый флажок со свастикой.

Нацисты обладали безошибочным чутьем на провинциальные театральные эффекты. Им хватило умения так инсценировать в пригороде оперу Вагнера со всей фальшивой магией мирового древа и заката богов, что те самые люди, слушавшие только «Фрау Луну» или «Летучую мышь», увлеклись и испытали блаженство. Опьянение и блаженство

– это ключевые слова для фашизма, для его фасада, а ключевые слова для его обратной стороны – ужас и смерть, и я верю, что даже эйхкамповцы позволили себя опьянить и одурманить. Все дело в их восприимчивости. Тут они были безоружны. Человек внезапно стал важен. Человек стал кем-то лучше и выше других: немцем. Величие осенило немецкую землю.

Вот так и случилось, что осенью моя мать начала читать книгу господина нового рейхсканцлера. Она всегда чувствовала тягу к высокому. Это было у нее в крови. Она была из старой силезской семьи, которая, опустившись и разорившись, неторопливо переехала из Богемии в Пруссию. Моя мать, как и Гитлер, была «музыкальной» и «в какой-то степени католичкой». Она исповедовала странную версию католицизма: духовного, исполненного тоски, сумбурного. Она восторгалась Римом и рейнским карнавалом, обнадеживающе молилась святому Антонию, когда теряла ключи, и при удобном случае позволяла нам, детям, понять, что ей еще в родительском доме было уготовано высшее предназначение: стать монахиней-урсулинкой. Невозможно было понять, почему эта нервная и нежная женщина, периодически всерьез увлекавшаяся антропософией и вегетарианством, вышла замуж за добродушного сына ремесленника из Берлин-Штраулау. Собственно говоря, он не соответствовал оказанной ему чести и притом был евангелистом на грубый берлинский манер, чья вера и по сей день выражается лишь в яростном и

язвительном антикатоли-цизме.

В школе отец проучился недолго. Как и для многих других немецких мужчин в то время, счастливым случаем стала война. Нет, мой отец не стал милитаристом – он был миролюбивым и добродушным человеком, но во время войны все в одночасье стало ясно и просто. Он служил bravо и храбро и уже в 1916-м был тяжело ранен при Вердене, и с тех пор его скромная карьера служащего все шла в гору. Сперва пулевое ранение в голову – просто счастливый случай какой-то, затем Железный крест, звание унтер-офицера, затем фельдфебеля, и под конец он, должно быть, был кем-то типа вице-лейтенанта. В любом случае, в 1918-м он привез с войны офицерскую саблю и какие-то бумаги, дававшие ему право вновь начать карьеру гражданского с самых низов. Сперва он доставлял документы, затем возил тележку по длинным коридорам прусского министерства культуры, позже стал помощником ассистента, ассистентом, начальником бюро и, наконец, даже инспектором.

На этом карьерный рост моего отца не закончился. К моменту, когда мы перебрались в Эйхкамп, он, кажется, был старшим инспектором, по выслуге лет стал чиновником, мог позволить себе свой собственный дом, получал министерскую прибавку и при Брюнинге сумел стать окружным начальником. Для него это было вершиной, захватывающим дух высшим пиком, за что человек должен всю жизнь быть верным и покорным государству. Всю свою жизнь он вы-

езжал утром в восемь двадцать три в министерство, ехал в мягком вагоне, читал дома «Дойче альгемайне цайтунг» и местную газету, никогда не вступал в партию, ничего не знал об Освенциме, никогда не подписывался на «Фёлькишер беобахтер»⁶, которая казалась ему слишком крикливой и воинственной. Но в восемь двадцать, проходя мимо газетного киоска на вокзале Эйхкампа, он покупал себе «Фёлькишер беобахтер» и держал ее перед лицом в течение двадцати минут пути до вокзала Фридрихштрассе, чтобы другие заметили его преданность новому национальному государству. На Фридрихштрассе он опускал газету. В министерстве он порой ворчал в узком кругу друзей по поводу грубого попрания закона новым правителем, но даже политические шутки, которые он любил, были разрешены.

Всю свою жизнь он возвращался домой в четыре двадцать одну. Всегда на одном и том же поезде, всегда в одном и том же купе второго класса, если было место, всегда у одного и того же окна в углу, всегда с полным рабочих документов портфелем в правой руке, левой предъявляя свой месячный проездной билет в светлом футляре – он никогда не спрыгивал с движущегося поезда. Он достиг своей цели, он был немецким госслужащим, и будь у власти Носке или Эберт, Шейдеманн или Брюнинг, Папен или Гитлер, мой отец всегда был обязан служить ему верой и правдой. Служба была для него миром, а жена – его раем. Она тогда читала «Мою

⁶ С 1920 года печатный орган НСДАП.

борьбу», была «в какой-то степени католичкой» и лишь на короткое время стала «политичной».

* * *

Уж не знаю, как вообще тогда при Гитлере обстояли дела во всех этих маленьких угловатых сельских домишках — предполагаю, примерно так же, как и у нас дома. Подъем в полседьмого, умывание, завтрак и дружелюбное лицо, поход в школу, возвращение домой, еда в духовке. Затем домашняя работа, открытое окно, из которого манило жизнью, и опять за учебник. Потом возвращение моего отца где-то около половины пятого, слабая надежда, что сейчас что-нибудь произойдет, что он принесет из города что-то необычное, но с нами никогда ничего не происходило, все шло обыкновенно, по правилам, по заведенному распорядку. Если бы не болезнь моей матери, эта невероятная болезнь женщины с богатым воображением, то моя юность здесь, в Эйхкампе, пролетела бы словно один-единственный день длиной в пятнадцать лет. Пятнадцать лет без каких-либо событий, совсем никаких, без взлетов и падений, без страхов и радостей: пятнадцатилетнее принуждение, невроз от современного стресса послушного госслужащего.

Хуже всего было по воскресеньям. Приходилось долго спать, ведь все-таки было воскресенье. Воскресенье в 1931 году в Эйхкампе: завтрак тянулся бесконечно, ра-

достные, застывшие лица моих родителей, ведь все-таки было воскресенье. Обмен односложными словами по поводу состояния яиц, бывших то слишком жесткими, то слишком мягкими. Попытки радоваться вместе, попытки поговорить о погоде, неправильно понятые слова, начало ссоры, затем снова молчание. В перерывах между молчанием бессмысленные, несколько раздраженные вопросы, не хочет ли кто еще кофе. Мы были в воскресной парадной одежде, и, конечно же, наливать кофе приходилось чертовски осторожно.

Я уже давно привык в таких ситуациях хмуро и неподвижно пялиться в окно. Я все время представлял, будто сижу во все не за этим семейным столом, а где-нибудь снаружи в саду, один, завтракая на лоне природы – эдакий великолепный праздник одиночества. Должно быть, не обращать внимания на других было настоящим издевательством. Уже в тринадцать лет я мог пять минут с отсутствующим видом помещивать кофе в чашке и с интересом смотреть на раскачивающуюся на ветру сосну, пока мои родители предпринимали попытки односложно прокомментировать пирог, поведение служанки или состояние нашего шкафа в стиле барокко. Но даже на мой отсутствующий вид никто не обращал внимания. Мы все сидели, словно марионетки, неспособные сблизиться. Мы висели на ниточках.

После завтрака наступала кульминация. Мой отец начал заводить большие напольные часы, украшавшие столовую, словно длинный, вертикально поставленный гроб. Отец

отпирал дубовую панель и торжественно открывал большую стеклянную дверцу, выуживал с витрины здоровенный заводной ключ из тяжелой латуни. Затем он внезапно и решительно хватал маятник. В комнате больше не тикало. Угнетающая тишина, затем часовой механизм начинал с жужжанием поворачиваться, пружинный механизм заводился короткими, тугими поворотами ключа. Вверх поднималась пыль. Процедуру надо было проводить дважды, затем нужно было заново отрегулировать звонок, и тогда его сила волшебным образом как бы переходила в часовой механизм. Теперь неделя могла начинаться: воскресенье было обеспечено, часы опять будут еще неделю тикать и звенеть. Отец прикуривал сигару ценой двадцать пфеннигов.

Затем традиционное обсуждение похода в церковь. У нас было какое-то непостижимое правило, что в воскресенье кто-то из нас всегда должен был идти в церковь. Мы вовсе не были так благочестивы – тем не менее. Отец всегда отказывался под тем предлогом, что он был евангелистом, а в Берлине евангелисты не ходят в церковь. У моей матери же всегда была сильная потребность в духовном утешении и общении с высшими силами – еще задолго до Гитлера. Это сулило ей утешение и прилив сил, напоминало ей о проведенном в монастыре времени, но, к сожалению, ее подорванное здоровье лишь изредка позволяло ей совершать подобные походы. Как и почти у всех женщин, у нее было слабое сердце, и как раз по воскресеньям, когда она около одиннадцати начина-

ла опрaвлять свой полушубок, на котором тоже была помещана, с ней легко мог случиться внезапный, неожиданный сердечный приступ. Тогда приходилось приносить ей капли, и она пластом лежала на диване. Поэтому эту обязанность чаще всего вешали на меня. Ее навязывали самому слабому. Мне было двенадцать, я не был ни католиком, ни евангелистом, а был просто никем, как в те времена почти все эйхкамповцы. Я был самым младшим, не мог дать отпор, и таким образом меня, словно козла отпущения у евреев, гнали в церковь за всю семью.

Как-то так и жилось в Эйхкампе при Гитлере. К полудню везде стоял запах жаркого из говядины или телячьей головы, на гарнир – шпинат или кольраби из огорода. Я всегда должен был рассказывать, что говорил пастор в церкви, но не мог вспомнить точно и заикался. Тогда моя мать начинала скрупулезно, задумчиво и неловко орудовать ножом или вилкой, она так ковыряла картофель нервными уколами, словно подчеркнутым ритуальным разделыванием пищи могла замолить вину за мой недостаток веры. Порой мой отец, повязывая салфетку, отпускал язвительное замечание в адрес католиков. Тут уж моя мать теряла терпение. Они ссорились. Затем просили соус и картофель, и я опять начинал с интересом смотреть в окно.

В три часа пополудни в кино. Сеанс для молодежи: входной билет – тридцать пфеннигов. Хоть я чаще всего этого не хотел, но в то время всегда должен был отправляться со

своей сестрой в «Риволи» на озере Галензее. Опять эти пустые, бессмысленные походы через Эйхкамп, снова эта близость марионеток, которых дергают за ниточки. Неподалеку от Галензее стояли ремонтные мастерские железных дорог. Дорога шла через длинный, темный тоннель, затем внезапно снова становилось светло: длинная, мрачная улица, тишина пригорода, булыжная мостовая, в канаве сорняки и клочки бумаги – неожиданный пролетарский мир. Здесь жили работники железной дороги, стояли их серые дома, однообразные и заросшие, в стиле прусских казарм 1880-х, из окон выглядывали изможденные лица. Это были «красные», как предупреждали мои родители. Я смутно представлял, что под этим подразумевается, но было очевидно, что красные опасны. Должно быть, была причина, почему они прозябали здесь, между Эйхкампом и Галензее, словно на ничейной земле Берлинского округа, как в тюремных стенах. Здесь жил красный сброд – «сброд» вообще было любимым словом моих родителей для обозначения тех, кто ниже нас: ремесленников и служанок, попрошаек и воришек, которые по утрам звонили в нашу дверь и, конечно же, на самом деле хотели ворваться внутрь.

Даже на восточной окраине Эйхкампа, недалеко от станции электричек, жил красный сброд. Там стояли поселочные домишки, которые Немецкое общество помощи бедным, к огорчению пожилых эйхкамповцев, построило в последние годы. Эти домишки были такие же бедные и некрасивые, как

и наши, они все были похожи как две капли воды, но мои родители всегда настаивали, что они выглядят совсем по-другому, бедные и дешевые изделия массового производства, ни в коей мере не относящиеся к добротному стилю домов старожилков. Действительно, красные жили здесь по-другому. Их домики оседали в длинных, узких бороздах, словно их хотели спрятать. Усаженные по краям цветами неровные дорожки вели к входной двери, перед домом бегали домашние птицы, и женщины, повязанные застиранными ремешками, в светло-голубых платках на голове, носили туда-сюда деревянные бадьи и цинковые ведра, трудились и мучились, на манер немецких ремесленников. Станный, чужой мир – смесь любопытства и осторожности, – в который я никогда не вступал; девять лет я проходил со школьным портфелем мимо этих заборов красных, в конце концов, я был гимназистом и стал бы первым в нашей семье, кто окончил школу. Я осмеливался лишь бросать вопрошающие взгляды на далекий, недоступный, запретный, низкий мир, из глубины поднимались надежда и страх – а вдруг эти красные прорвутся в Эйхкамп?

Наш Эйхкамп всегда был каким-то возвышенным и чинным. Моя мать никогда не носила голубых платков, больше не таскала туда-сюда бадьи, ведь от такого частенько всюю хворала, всегда называла себя «страдающей», что придавало ей ауру возвышенности. Я так никогда и не выяснил, в чем же, собственно говоря, заключались ее страдания. Для

работы по дому она держала служанку. От той всегда разлило потом, она стоила тридцать марок в месяц, у нее были толстые, обрюзгшие руки, и каждые три или четыре месяца она, как мои родители тогда говорили, «с бухты-барухты» увольнялась. Она все время рожала детей, и, будучи еще мальчишкой, я сперва связывал это с запахом пота. Лишь позже я услышал, что «этот сброд» неопишимо грязный и импульсивный, открыто проводит свободные воскресные вечера с солдатами и в качестве небесной кары за такое распутство через пять месяцев получает детей.

Дома мы не говорили о рождении детей. Мои родители были не только аполитичны, но также незротичны и асексуальны. Наверное, это взаимосвязанные вещи – молчать как про любовь, так и про политику. Не барское все это дело. Прежде всего сексуальность была невыразимо низкой и грубой, и лишь только когда мне наконец исполнилось шестнадцать лет и я, как и все мальчишки в Эйхкампе, давно уже мастурбировал, мои родители, видимо, что-то заметив, устроили долгое совещание.

Как-то вечером на моем ночном столике появилась тоненькая книжка. Я очень удивился, поскольку до этого печатное слово не играло никакой роли в жизни моих родителей. Я сразу понял, что речь о чем-то экстраординарном. Я начал читать. Это было мягкое, нежное, дружелюбное разъяснение, которое начиналось с травинки и шмелей, потом речь шла о солнце, потом повествовало о чудесах сил бо-

жких, под конец переходило на силы человеческие, и речь шла об ужасном смертном грехе слабости. От этого, мол, страдает спинной мозг. Но я определенно не уловил взаимосвязи, в то время это было для меня слишком благочестивым. Это была католическая разъяснительная книжка, которую моя мать в своей беспомощности приобрела у урсулинок. Она никогда не говорила об этом, я никогда не говорил об этом. В нашем доме вообще никогда не заговаривали на эту тему, и если бы не реакции моего собственного тела, я бы и в двадцать лет все еще верил в ужасный пот нашей служанки. Вот так у нас обстояли дела. Дом немецких представителей среднего класса не пускает на порог не только государство, но и любовь. Спрашивается – чисто с точки зрения социологии, – что вообще остается в жизни? Без политики и сексуальности?

Для нас, к примеру, оставались соседи. Были определенные отношения, попытки прощупать почву, следующие попытки, установление границ, попытки их нарушить. Иногда, когда я воскресным вечером около половины шестого возвращался с сестрой из «Риволи», у нас в гостях сидели Марбургеры, соседи, жившие напротив по диагонали. Это были жесткие, утонченные люди, для которых даже отсутствие у них детей было признаком благородности. Она очень высокая, он очень низкий, оба в воскресной парадной одежде, которая всегда пахла нафталином, они сидели на высоких стульях прямо и ровно, будто аршин проглотили, по-

мешивая серебряными ложечками кофе и при случае отпуская остроумные замечания о соседях. Меня всегда от этого пробирал озноб.

Господин Марбургер тоже был чиновником, тоже дослужился до руководящей должности, так что однозначно был коллегой моего отца, но, поскольку господин Марбургер работал всего лишь в министерстве сельского хозяйства, моя мать всегда ощущала некоторое превосходство над Марбургерами. Мой отец не мог понять этого до конца. Порой бывали вечера, когда после ухода Марбургеров об этом велись долгие дебаты, в которых моя мать бурно настаивала на том, что есть разница, заведует ли человек просто коровами и лесами, как господин Марбургер, или же искусством, как мой отец. По факту мой отец как раз принимал участие в управлении музыкальным вузом на улице Гарденбергштрассе и позволял своей жене, которая когда-то вполне могла бы стать певчей в монастыре, объяснить ему, что занятие искусством возводит нас в другой ранг. Вот такие тонкие были тогда в Эйхкампе различия.

Иногда к нам приходили еще и Стефаны. Честно говоря, господин Стефан был всего лишь старшим инспектором, да и то на почте. Но его старший сын, Оскар, в то время учился на врача. Поэтому вокруг Стефанов висела своеобразная и ехидная аура превосходства, которое они могли коварно использовать посредством предоставления эпизодических фактов про университет и волнующие обычаи корпора-

ций. Это ставило в тупик моих родителей, на какое-то время приводило их в замешательство, и превосходство Стефанов их угнетало.

Так можно описать положение дел в 1931 году. В стране было более четырех миллионов безработных, мировой экономической кризис потряс весь земной шар, в Берлине коммунисты и штурмовики вели кровавые уличные бои, закрывались банки, а от «Романского кафе»⁷ до Ульштейнхауса бурным потоком прокатывались суматошные двадцатые годы: триумф экспрессионизма и русского кино в Берлине. Но мои родители всего этого не замечали, они лишь подмечали тонкое ранговое различие в обществе эйхкамповцев, объясняли мне, почему я могу дружить с детьми Науманна, но уж никак не Леманна. Дело в том, что Леманны были настоящими академиками, на их садовом заборе были указаны докторские звания, а для нас это было слишком высокое общество. Мои родители четко знали понятия высшего и низшего. Это можно было почувствовать. Люди ниже нас были сбродом, люди выше – недостижимыми небожителями.

Семья Эрнст, живущая слева напротив, тоже была недостижимой, глава семейства был врачом, что давало им многократное превосходство. Мои родители считали, что, здороваясь с нами, они оказывают нашей семье большую

⁷ «Романское кафе» – знаменитое берлинское кафе, излюбленное место встречи интеллектуалов и художников. В разное время его посещали Отто Дикс, Готфрид Бенн, Бертольд Брехт, Стефан Цвейг и многие другие. Разрушено в 1943 году.

честь, они благоговели перед внушительным лицом господина Эрнста, украшенным шрамами, не без удивления наблюдали за его пышным образом жизни, периодическими поездками на такси и вечерним освещением в саду, разительно отличавшимся от нашего. И когда однажды у Эрнстов появилась машина, маленький черный «Опель Р4», то задолго до Гитлера в Эйхкампе произошла маленькая революция, и мои родители завистливо смотрели из-за гардин, как воскресными днями семейство Эрнст забиралось в это странное транспортное средство и уезжало, словно повинувшись зову высших сил. Налицо были очевидные признаки избранности.

В те времена многие эйхкамповцы напоминали моих родителей: все эти Ниссены и Вессели, Науманны и Нойманны, Стефаны и Шуманны, Леманны и Штрюбинги. Они все вышли из низов, добились скромных успехов, все время жили в страхе опять скатиться вниз, хотели остаться наверху, были кем-то значимым и обладали этим невыносимым чувством тонких ранговых различий. Они были аполитичны и неэротичны, читали местную газету, воскресными вечерами разгадывали кроссворды, выбирали строго немецко-национальное, придавали значение расовой чистоте и придерживались порядка и традиций. За нашим садом жили Бланкенбургеры. Одно время я дружил с их сыном Фридрихом. Господин Бланкенбургер был учителем средней школы, и однажды мои родители запретили мне к ним ходить. Но не из-за того, что он был академиком. Дело обстояло еще хуже. Во

время воскресного визита Марбургеры как бы мимоходом упомянули: господин Бланкенбургер был красным – да, и он тоже. Он был членом социал-демократической партии. Старожилы Эйхкампа считали таких людей красными. Стояло лето 1932-го.

* * *

Правление Гитлера прокатилось над Эйхкампом, словно воля божья. Никто об этом не просил, никто не мог этому противостоять. Оно просто наступило, как новое время года. Час пробил. Это было природное явление, а не воздействие человеческого общества. Никто не принимал в этом участия, никто не был нацистом. Оно пришло из далекого Берлина и, словно облако, высокое и перистое, распростерлось над Эйхкампом. Как минимум для нас мотивом было служение отчизне. Мои родители почти ничего не рассказывали мне про немецкое поражение в 1918 году и репарации, наложенные Версальским договором. В Эйхкампе никогда не обсуждали немецкий позор, вероятно, ему было самое место в Потсдаме. В Эйхкампе не велись сплетни о негативных моментах немецкой истории. Люди все время боялись опять скатиться вниз, и вот к власти пришел человек, который хотел поднять их еще выше, как на крыльях. Вот так, все было слишком хорошо.

Все теперь стало таким грандиозным, величественным и

преисполненным надежды. Первое мая, которое моим родителям всегда было чуждо из-за красных, теперь и в Эйхкампе стало радостным праздником, своим множеством флагов и песен напоминавшим оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры». Деятели оперы собрались в ноябре на улице Унтерден-Линден для «Зимней помощи»⁸, по улице тянулись певцы и актеры с красными трещотками. Моя мать, не без внутреннего интереса, в первый раз готовила айнтопф⁹, и в это воскресенье мы ели полный комочков перловый суп, чувствуя, что сделали что-то для объединения народа. Для Эйхкампа это было совершенно новое понятие – народная общность. Затем пришел главный по кварталу, забрал две марки пятьдесят пфеннигов, мы получили плакат. Это тоже было что-то новое. По радио пел добродушный баритон – певца, полагаю, звали Вилли Шнайдер, и он и по сей день поет: «Почему так красиво на Рейне?» и «Выпей стаканчик вина». Для нас началось новое время: немножко величия и уюта. В то время в Германии много пели. Молодежь носила форму с

⁸ «Зимняя помощь немецкого народа» – ежегодная кампания в нацистской Германии по сбору средств на топливо для бедных. Широко поддерживалась государством, имела большой резонанс.

⁹ В рамках «Зимней помощи» проходила акция «воскресный айнтопф»: немецкий народ в одно из воскресений месяца должен был готовить на обед только айнтопф – густой крестьянский суп из всех ингредиентов, что есть под рукой, заменяющий первое и второе блюда. Местные партийные работники НСДАП обходили дома и собирали взносы в пользу «Зимней помощи» в размере 50 пфеннигов, которые якобы составляли разницу в расходах между обычным воскресным обедом и айнтопфом.

иголки, трудовая повинность считалась хорошим делом, и было очень много праздников с крупными демонстрациями и митингами: величие прокатилось по нашей стране.

Вторжение Гитлера в наш дом – в Эйхкамп в 1935-м – произошло, по существу, только в плане эстетических категорий. Красота – вот что это было. Все-таки этот человек был деятелем искусства, зодчим и художником, а во времена своей венской юности «прошел через внутреннюю борьбу», как это называла моя мать. Она это понимала скорее в моральном, чем в политическом смысле: она ведь тоже когда-то хотела заниматься искусством. А теперь он везде строил оперные дома и выставочные залы, снес пол-Берлина, везде запланировал построить большие, отлаженные, великолепные новые министерства, имперскую канцелярию, которая снаружи выглядела как греческий храм, протянул через всю страну чистые улицы. Моей матери от всего этого становилось хорошо на душе. Она тогда вступила в Национал-Социалистическое общество культуры; там можно было дешево посмотреть «Летучую мышь», послушать Элли Нэй и посмотреть на Эмми Зоннеманн, тоже примкнувшую к своему могущественному супругу¹⁰. Все немцы в то время последовали вслед за ней. А музыка, восхитительная немецкая музыка, искусство! Теперь-то мы поняли, что искусство лучше сельского хозяйства, а чиновник в министерстве культуры

¹⁰ Эмми Зоннеманн (в замужестве Геринг) – вторая жена Германа Геринга, актриса театра и кино.

был выше чиновника в министерстве сельского хозяйства. Новое время было как раз «музыкальным» – в ту пору это было любимое слово моей матери.

Я вспоминаю первый день каникул в 1934 году. Жаркое июльское утро, мы сидим на силезском вокзале в туристическом поезде на Хиршберг. Моя мать одета в платье в крупный цветочек, вокруг куча чемоданов и свертков, в купе накрыт завтрак. Тут в купе заходит мой отец с утренней газетой. Крупный заголовок, набранный жирным шрифтом. Отец читает. Родители разговаривают друг с другом, шушукуются с серьезными лицами, обмениваются крайне озадаченными взглядами. Обсуждается сексуальность и еще что-то, мне непонятное, и я слышу, что «таким людям» следует предстать перед судом: слишком просто расстреливать подобных в постели. Моему отцу не по нраву такая процедура. Первая туча в небе нашего отпуска. Вспоминаю утро после «Хрустальной ночи». Улица Тауэнцинштрассе завалена битым стеклом, разбиты витрины еврейских магазинов, и теперь там стоят штурмовики с портупелями и наблюдают за прохожими. Те озадаченно и молча проходят мимо. Вечером мой отец рассказывает, что синагоги сожгли, а «сброд» – он опять говорит «сброд» – обчистил еврейские витрины и квартиры. Дома у всех задумчивые лица, тихое негодование: знал ли об этом фюрер? У моей матери были личные причины беспокоиться из-за этого человека. Она ведь была католичкой, и договор с Ватиканом доставлял ей глубокое удо-

влетворение. Но позже пришли пасторские послания, которые зачитывались с церковной кафедры и с которыми задумчиво соглашались. Теперь в газетах было столько всего про монастыри. Каждый день полиция в поисках преступников-валютчиков обнаруживала злоумышленников в благочестивых рясах, говорили о мужеложцах-педофилах; я все не мог толком понять это, но мою мать приводило в ужас, что именно францисканцы, которые так ей нравились, оказались настолько порочными. Затем пришли другие послания, которые серьезно и благоразумно заявляли о своей приверженности народному государству, в то же время заводя разговор об эвтаназии, идея которой была забракована. Моя мать оказалась в сложном положении: с одной стороны, она ревностно уважала духовенство, с другой стороны, ее привлекала «музыкальность» нового рейха. Это был древний конфликт между этикой и эстетикой: вторжение Кьеркегора в Эйхкамп.

Но такие раздумья не отменяли того факта, что мы жили в новое, великое время. Рейх и молодежь, культура и государство – только теперь в Эйхкампе поняли, какой властью обладают эти понятия. Все теперь было таким торжественным: объявленные фюрером концерты Бетховена по радио, да и в Байройт великий человек тоже пришел как ниспосланный свыше: у почтамтов приветственно стояли статуи голых мальчиков с горящими факелами в руках – греческая весна в Германии. Честно говоря, никто из эйхкамповцев никогда

не был в Греции. Уже собирались построить на шоссе Геерштрассе огромный стадион для Олимпийских игр 1936 года, и даже на Эйхкампе упал отблеск величия: напротив вокзала построили самый большой зал собраний в мире – огромная крыша почти без опорных колонн, и наш маленький, заспанный вокзал теперь назывался «Дойчландхалле», и там появился специальный выход для посетителей. Это и нас опять немножко приподняло в плане статуса.

Собственно говоря, столько величия было странной, необычной противоположностью нашему маленькому поселку, но, если как следует подумать, именно в этом и заключалась притягательность. Эйхкамповцы не привыкли к такому размаху. Перед ним они были безоружны и покорны, они верили в чудеса. Они были как дети, им просто повезло услышать, какое это великое дело – быть немцем, увидеть, как Германия становится все более великой. Рейх рос с каждым днем. Все становилось лучше, поднималось все выше, а поскольку эйхкамповцы вышли именно из низов, они только рады были подняться еще выше. Ведь все дела продолжали идти в гору. А почему бы и нет?

– Наконец-то мы тоже войдем в мировую историю – это ведь справедливо, – считал господин Бергер.

– Теперь у нас построят даже автострады, чтобы наша почта стала еще быстрее, – сказал господин Стефан.

Госпожа Марбургер решила:

– Мы усыновим ребенка, а то сейчас у многих немецких

матерей будут дети.

– Мы теперь и колонии назад вернем – это же очевидно, – сказал господин Шуманн и уже выудил свою старую матросскую шапочку-зюйдвестку.

А господин Ниссен даже надеялся на кайзера:

– Гогенцоллерны, они придут, кто-то уже побывал в усадьбе Дорн. Вот увидите!

Однажды, вскоре после включения Австрии в состав Германии, я встретил на улице госпожу Стефан. Я возвращался из школы. Она спросила:

– Как, разве ты не веришь, что наш фюрер был ниспослан нам богом?

Я и не знал, что госпожа Стефан была такой благочестивой и верила в бога. Ведь ее муж работал всего лишь на почте. Но именно это и принес в Эйхкамп Гитлер: знание, что есть провидение, вечная справедливость и Господь Бог. Теперь и в Эйхкампе тоже много говорилось про эти невидимые силы. Стояло благочестивое время. Моя мать вырезала одну фразу фюрера, по поводу которой она испытывала противоречивое удивление. Она хотела обсудить эту фразу со мной. Великий человек сказал:

– Когда я борюсь с евреями, я исполняю волю Божью!

Как-то так ведь и в церкви сказали – верно? Она все время хотела обсудить это предложение, сперва с клиросом, потом со мной. Она пыталась понять антисемитизм в высшем, теологическом смысле. Я хотел бы отметить: в то время – осе-

ную 1938-го – все для нас обыгрывалось в высшем смысле. В те времена Гитлер и Эйхкамп были на высоте. Над страной распростерлось благочестие.

* * *

Да, если я правильно помню: как-то так в то время все у нас и было. Я знаю, что в наши дни считается отвратительным копаться в таких воспоминаниях. Сейчас все это звучит несколько неловко и смешно, и никто больше не хочет верить, что когда-то ревностно и по-детски разделял эти убеждения. Сегодня наша страна кишит бойцами Сопротивления, тайными уполномоченными, внутренними эмигрантами и мелкими рыбешками, которые лишь делали вид, что сотрудничали, чтобы избежать неприятностей. Немецкий народ, народ бойцов Сопротивления, немецкий народ, народ изгоев – ах, не будь тогда СС и гестапо, этот народ выступил бы против Гитлера. Он просто не мог.

Это новые мифы нашего времени, общепринятая, приятная ложь наших историков, которая снимает с нас всяческую вину, новая состряпанная немецкая история, в которой все так понятно – фашистский террор над Германией. Одно только непонятно: почему немцы любили этого человека, почему так радовались за него, почему умирали за него миллионы? Посмотрите на солдатские захоронения по всему миру: это были не такие, как в ГДР, люди в форме, за ко-

торами стоят еще люди в форме с оружием на плече. Это были настоящие верующие, воодушевленные, опьяненные, стремившиеся умереть героями. Они всегда боялись опоздать к победе. И если бы в 1938-м кто-то поднял руку, чтобы застрелить Гитлера, не потребовались бы СС или гестапо, чтобы поймать его. Народ сам казнил бы его за убийство мессии. Вот так все и было.

И все же они не были нацистами. Настоящие нацисты действительно пришли из ниоткуда – максимум пять процентов. Они никогда ничему не учились, ничего не умели, были полными неудачниками и действительно через три-четыре месяца «прогорели» бы, если бы все эти хорошие и послушные немцы в Эйхкампе не отдали слепо в их распоряжение свою силу, свое трудолюбие, свою веру и свою судьбу. Их мечта среднего класса медленно превратилась в стремление к величию, они отлично себя чувствовали, сильно гордились тем, в кого превратил их великий человек. Они так и не поняли, что именно они сами, все вместе, и создали этого человека. Без них он бы скучал на задворках пивной «Хофбройхаус». Они до самого конца считали, что за все должны быть благодарны Гитлеру: за время величия и время смерти.

Мои родители тоже верили в это до самого конца. Октябрь 1944-го. Это был тот случай с оливковым маслом из Италии, бытовой фатальный случай, отнюдь не случайно совпавший с исторической катастрофой. Я вернулся с фронта, где уже четыре года не видел родителей. Они ужасно постарели: за

четыре года войны жили в Эйхкампе только на продуктовые талоны, и у них были изнуренные, голодные лица. Они выглядели как наркоманы, у которых внезапно отобрали морфий: дрожащие и изможденные. Моя мать, на старости лет красившая волосы в черный, теперь стала белой как лунь и крайне набожной – я еще тогда знал, что в нашей стране после Гитлера всю расцветут церкви. Все разочаровались в вере в лидера. А мой отец, никогда не вникавший во все эти высшие материи, теперь вообще больше ничего не понимал. Он был сбит с толку, все время качал головой, из белого воротничка торчала его тонкая, кожистая шея, и он все время тихо причитал:

– Эти парни, предатели, что же они с нами сделали! После войны нас всех утащат в Россию, это же ясно как день.

Собственно говоря, он мог бы и не упрекать себя. Он никогда не вступал в партию. Его анкета была бы ослепительно белоснежной.

Вокзал для электричек в Эйхкампе, 30 октября 1944-го. Русские в Силезии, американцы в Арденнах. Моя увольнительная закончилась. Родители провожают меня до электрички, и она медленно подъезжает к холодному, пустому перрону. Они стоят там в своих ставших слишком длинными и слишком свободными пальто, болтающихся на их исхудавших телах. На их лицах читаются слабость, голод и страх. В их глазах бесцельно мелькает любовь. Усталость вымирающего класса, который снова обманули. Семейные разгово-

ры – хоть ты у нас остался, смущенный смех, озабоченные напутствия моей матери, как я должен вести себя на фронте: всегда тепло одеваться, не лезть на передовую, всегда делать то же, что и другие. Заверения, что совсем скоро увидимся снова. Электричка останавливается. Я хватаю свой багаж. Мне двадцать пять – им почти шестьдесят. Я чувствую себя сильным – они выглядят как дрожащие, беспомощные старики. Семейное объятие, отдающее болью. Я забираюсь в электричку и закрываю дверь. Подхожу к окну. Открываю его, высовываюсь наружу.

Вон снаружи стоят те, кто принес тебя в этот мир: эйхкамповские родители. Их беспомощность кажется несколько комичной, почти смешной, но я скорее готов расплакаться. Теперь они машут платками, становятся все меньше, теперь они выглядят почти как Филемон и Бавкида, немощные старики из античного мифа. Я знаю, что больше их никогда не увижу. Никогда. Это конец, их смерть. Придут русские, а их сына нет. Ты ведь наш единственный. Только ты у нас и остался. Ты – последнее, что у нас есть. О боже, они ведь забрали у нас все. Ты – наша надежда. Вот об этом они причитали. Снова иллюзия, они всегда жили иллюзиями.

Так и будет: они заболеют, будут лежать где-нибудь в одиночестве, в окружении русских, умрут где-нибудь в одиночестве. Похороны будут позорными. Сейчас в Берлине так много покойников. Самоубийство стало нормой. Сейчас почти не осталось гробов. Даже древесины не хватает. Их за-

сунут в мешки – именно так, в мешки, словно овощи: вот что они получили от их Гитлера. И зароят где-нибудь у озера Ванзее.

Но пока что они еще здесь. Сейчас они – крохотные черные точки, которые все еще цепляются за меня и не хотят отпустить – мои родители. Они не прекращают махать: ты ведь нас не бросаешь, верно?

Я давно скрылся из виду. У меня стесняет горло, я бросаюсь на отполированную до желтизны скамью, мой противогаз ударяется с глухим шумом. Я думаю: слава богу, все кончилось. Ты их больше никогда не увидишь. Все позади. Ты больше никогда не вернешься в Эйхкамп – больше никогда.

Реквием для Урсулы

Я долго ехал на электричке. От Эйхкампа до вокзала Пристервег ехать почти три четверти часа. Затем в электричке становится свободно и пусто. Город словно растворяется. Влажно и пасмурно, в тумане стоят мокрые семафоры. За окном пролетают забытые названия детства: Гезундбруннен, Папештрассе, Лихтенраде, Гляйсдрайек, Мариендорф – неисследованные участки, тогда и сейчас. Берлин – город восточный. У жителей Берлина фамилии Лабуде и Кабушке, и они родом из Шпревальда, из Лужицы, из Силезии. Я это сразу подмечаю, потому что я с запада. У них бледные, заspanные лица с лужицкими скулами и тонкими бесцветными губами. И когда они сидят напротив в электричке: в слишком широких брюках, слишком длинных пальто, у некоторых женщин головы повязаны платками. И когда в три часа уже темнеет – кто тогда, после того как мы миновали Папештрассе, в сумерках скажет мне, что я еду не из Катовице, не из Познани, не из Вильнюса? Берлин – город восточный.

На вокзале Пристервег никто больше не выходит. Перрон высокий, узкий и продуваемый, все железные детали кажутся ржавыми. Пахнет ноябрем. Взгляд свободно скользит по мокрым полям: садовые участки с беседками из рубероида, еще с лета валяются пивные бутылки, лопаты, жестянки и красно-коричневые цветочные горшки. Между садами

с властным видом возвышается водонапорная башня, словно бетонный гриб, за ней лавка торговца углем. Лестницы, проходы, туннели – почему путепроводы под железной дорогой в Берлине всегда такие голые, такие высокие и такие продуваемые? Я слышу, как мои шаги эхом отдаются от стен. Где-то свистит локомотив, и над моей головой сигналият семафоры. Мимо с грохотом проносится маленькое трехколесное грузовое такси. На нем стоит старомодная мебель, вероятно, принадлежащая пенсионеру, который сейчас собирается переехать на юг. И затем всегда попадающиеся на пути к кладбищам садовые хозяйства с мертвыми цветами и железными венками на заборе: киоски благочестивого прошлого. «Траурные украшения на любой вкус», – читаю я. Затем лавки каменотесов, где на мраморе выбивают огромные пальмовые ветки, а пустые надгробия дожидаются имен. Иногда бывает еще и лавка гробов. Там в витрине стоит деревянное изделие, отполированное, открытое, приглашающее обрести роскошный последний приют.

Я давно здесь не бывал. Мне следовало приехать сюда еще много лет назад. Из Франкфурта до южной окраины путь неблизкий. Кто приезжает в Берлин, тот сразу находит путь в зоопарк, в Ганзафиртель и на улицу Месседамм – а кладбища всегда обходит стороной. Я не бывал здесь уже три года, и теперь меня мучит совесть. Есть обязанности, которые неизбежны. Даже если в жизни ни с кем не ладил, в смерти все странным образом повязаны. Говорят, что могилы предосте-

регают. Но, вероятно, дело просто в том, что могилы словно шрамы, напоминающие о древних историях. Словно старики, они все время бормочут об одном и том же: монотонно, скучно, жалобно; никто не хочет их слушать. Речь могил как речь пенсионера: уже никогда не будет так, как раньше, вот это была жизнь.

Последнему надлежит выучить эту речь. На плечах последнего всегда покоится целое. На него ложится весь груз воспоминаний. Я несу в себе груз пяти человек, живших когда-то. Я едва знал их, но теперь они живут во мне и умрут только вместе со мной. Это называется семьей, эйхкамповской семьей – она тут уже давно. Все они сливаются во мне, и будь я порядочным человеком, то переехал бы в Берлин насовсем, чтобы регулярно посещать их могилы в день покаяния и молитвы, в поминальное воскресенье, в Страстную пятницу и прочие подобные дни. Последний – всегда кто-то вроде зрителя кладбища. Его жизнь состоит из воспоминаний и благочестивого бдения. Мне это не по душе, я этого не хочу. Когда я приезжаю в Берлин, то ищу только жизнь. Я хожу в зоопарк и на улицу Гарденбергштрассе, я езжу в Моабит и наслаждаюсь запахами Шпандау и Галензее, тонкими различиями между Шенебергом и Шарлоттенбургом. И везде я жду чуда. Вот почему так вышло, что я не был здесь три года, здесь, на кладбище Матиас, на южной окраине.

Красная постройка из клинкера восьмидесятых годов, строгость вильгельмовской эпохи, коридоры в прусском сти-

ле, на стенах картонные листы: режим работы кладбища, время посещений, постановления магистрата и общины – церковь, коммунальное бюро ритуального обслуживания. Маленький, тощий человечек сидит за деревянной перегородкой и листает тяжеленные книги. Он пролистывает года захоронения покойников, словно они живые тайные дивизии под его управлением, которые для него стоят снаружи в поле, как подразделения канцелярии.

И я говорю:

– Да, ее звали Урсула К. Ее похоронили здесь в начале апреля тридцать восьмого. Я ее здесь часто навещал. Это была моя сестра.

Смотритель кладбища сильно озадачен. Типично для Пруссии, здесь все зарегистрировано и упорядочено, и, по идее, не требуется особых усилий, чтобы быстро отыскать каждого покойника. Я хотел всего лишь узнать номер ее участка, потому что тут так легко заплутать среди могил. Все покойники на одно лицо, и нет ничего хуже, чем внезапно обнаружить, что скорбишь не у той могилы. Но, похоже, возникли какие-то сложности с документами.

– Тридцать восьмой? – спрашивает старик. – Апрель тридцать восьмого?

И достает с полки новые книги, мочит указательный палец зеленой губкой и вновь листает свой пожелтевший лес мертвецов.

Слышен шелест. Желтая бумага при переворачивании

шуршит, как пергамент, а в маленькой печке-буржуйке трещит огонь. В комнате тепло, в восточной части всегда перегревают, в Берлине уже считают необходимым начать отопительный сезон, думаю я, как в Вильнюсе и Ленинграде, здесь заранее готовятся к зиме и топят с большой решительностью, и я начинаю расстегивать пальто и пиджак.

– Я пойду, – говорю я, – сам все найду, я ведь здесь часто бывал.

Но маленький управляющий уже вцепился в это дело, он чувствует ЧП, он приступил к серьезной фискальной задаче, а чего нет в документах – как оно может оказаться там снаружи, в поле? Все это длится уже четверть часа, просмотрены все возможные регистры и картотеки, запрошены толстые фолианты довоенных лет. Какой гротескный случай – в прусском управлении потеряли мертвеца, такого в Берлине никогда не было. Внезапно старик поднимает на меня загоревшийся взгляд, триумфально хлопает себя по лбу и быстро спрашивает:

– Вы говорите, апрель тридцать восьмого, Урсула К.? Ну конечно, – говорит он, – могильные ряды в участке С.

И он хватает другую книгу, похожую на альбом, с любопытством листает черновую книгу мертвецов, сверяется со списками, и внезапно его лицо сияет. Приятные радости работы управляющего.

– Нашли! – восклицает он.

Он поспешно вскакивает с табуретки и ретиво тащит все

ко мне. Он абсолютно счастлив и говорит триумфальным тоном, водя карандашом по списку:

– Ее больше нет, она не здесь, я имею в виду, могила. В прошлом году мы сровняли этот участок с землей!

И я с изумлением узнаю, что могилы могут умирать, как люди, что такое может случиться с каждым. Ты приходишь домой – а твоя жена мертва, и таким же образом может случиться, что ты спустя годы приходишь на могилу – а могилы нет, сама могила умерла, ничего не осталось, просто ничего. Я с ужасом узнаю, что два года назад истек двадцатипятилетний срок на место захоронения. Больше года в коридоре висела записка, больше года хотели предупредить родственников, с которыми не могли связаться никаким иным образом, что они должны заново приобрести место, иначе его освободят и похоронят там другого покойника. Земли на всех не хватает. За весь год никто так и не пришел, никто не захотел обновить могилу, и поэтому в этом январе...

– Погодите, – говорит старик, – если вас интересует, могу точно сказать: там сейчас лежит Франциска Буш, на том месте, где раньше лежала ваша дражайшая госпожа сестра.

Моя дражайшая госпожа сестра – на мгновение меня охватывают страх и изумление, просыпается чувство вины, парализующий страх перед небытием, именно так. Ее больше нет, это ведь просто невозможно, этого просто не может быть, я всегда ходил в зоопарк и на улицу Гарденбергштрассе, сидел в Театре Шиллера и обедал в отеле «Кемпински»,

пока меня тут разыскивали. Просто сровняли с землей, просто положили сверху что-то другое, да что они вообще себе позволяют, нельзя так просто отнимать еще и наших мертвецов. Я всегда думал: посетить могилу всегда есть время, никуда она от меня не убежит. А теперь ее вдруг больше не существует, мою сестру стерли с лица земли, и, можно сказать, это я ее убил. Вот почувствуй-ка свою вину. Я уничтожил ее могилу: древнее табу, такое же, как инцест или убийство родной матери. Древняя вина, теперь она пробудилась. Больше ничего от сестры не осталось – теперь она живет только во мне. Все сливается в меня. На плечах последнего весь груз воспоминаний. Если я сейчас не буду вспоминать, то она навсегда останется мертвой. Значит, я должен вспоминать.

* * *

Австрия как раз вернулась домой, в рейх. Воздух Эйхкампа еще был пропитан великим немецким ликованием – и большой венской благодарностью. В то время мировой дух прошел по нашей стране, перед дверью творилась история: сосновая дверь нашего дома была покрашена в зеленый, и на нее как раз поставили первый цилиндрический замок с цепочкой – против взломщиков.

Был март 1938-го. Дела у Германии тогда обстояли очень хорошо, но мы были не из тех, кто в такое время стремится протиснуться вперед. Все всегда одно и то же, да и, как

известно, ничем не лучше. Мы не поднимали шум. Великое немецкое ликование во многих городских домах кончалось задумчивыми размышлениями, великонемецкий крик в Эйхкампе тихо переходил в верность. Должно быть, мы в то время были типичной порядочной немецкой семьей, одной из многих миллионов, которые с благодарностью и трудолюбием принимали участие в стремительном взлете нашего народа.

Вечер прошел так, как всегда проходили наши воскресные вечера. Мы поужинали: бутерброды с колбасой и сыром, еще пиво, две высокие узкие бутылки из пивоварни «Шультгейс-Патценхофер». Мы слушали радио, листали развлекательный раздел местной газеты, наткнулись на кроссворд. Там всегда были вопросы типа «приток Верры» или «герой оперы Вагнера» из пяти букв с «т» на конце, которые надо было уточнить. Моя мать вышивала цветочный узор. Отец листал документы и пускал над головой голубые клубы дыма. Где-то около девяти моя мать по обыкновению удалялась наверх, в спальню, прихватив несколько книжек и лекарства. Она с удовольствием читала новое: Куэ¹¹ и Штейнера¹², а также всерьез изучала преимущества вегетарианства. В то время ходили слухи, что даже великий человек из им-

¹¹ Эмиль Куэ (1957–1926) – французский психолог и фармацевт, разработавший метод психотерапии и личностного роста, основанный на самовнушении.

¹² Рудольф Штейнер (1861–1925) – австрийский доктор философии, педагог, лектор и социальный реформатор; эзотерик, оккультист, ясновидящий и мистик XX века.

перской канцелярии не достиг бы таких удивительных успехов без отказа от мяса. Гений был вегетарианцем. Похоже, тут была какая-то загадочная взаимосвязь. Моя мать хотела ее прояснить.

В десять часов мой отец слушал известия. Не только из Германии, но со всего света были сообщения: пожелания успеха, поздравления и многочисленные демонстрации верности. В десять часов десять минут мой отец шел спать. Я уже давно был в своей комнате, лежал в кровати, слышал, как он, шаркая ногами, прошел по коридору, спустился в подвал, где были выключатели воды и газа. Моя мать всегда настаивала на том, что главный кран газопровода в подвале должен быть прочно закрыт, а ключ должен лежать на ее ночном столике. Затем большой, несколько ржавый четырехгранник лежал совсем рядом с предсказаниями капеллана Фазеля, и оба эти предмета вселяли в нас странное чувство безопасности. Я слышал, как отец поднялся по лестнице, как он дважды запер изнутри дверь спальни, как родители обменялись односложными словами, как отец открыл шкаф и скинул высокие сапоги, как заскрипела кровать. Я лежал рядом с пестрым настенным ковром, имитацией персидского ковра из Вертхайма, который служил мне поводом для удивительных фантазий. Я все время пытался проследовать по затейливому лабиринту, по ветвящимся дорожкам между красным и черным, раскрыть тайны Востока. За этим занятием я заснул. Меня преследовали сказочные фигуры.

Эйхкамп спал, дыша глубоко. Весь Эйхкамп мирно и крепко спал, готовясь к встрече с немецким будущим.

На следующее утро меня разбудил крик. Я услышал удары, треск сосновой древесины – мой будильник показывал полдевятого. Царили дикое возбуждение и ужас, как бывает, когда чиновник непостижимым образом проспал на полчаса. Я, в пижаме, с босыми ногами, выскочил в коридор, что мне отец всегда запрещал из-за того, что я мог простудиться, но сейчас это никого не интересовало. Дверь ее спальни была взломана, замок с обломками дерева торчал в гнезде, древесина была желтой и волокнистой, дверь косо болталась на петлях. Окно было распахнуто, снаружи лежал слабый весенний свет, а внутри на постели лежала Урсула – мне показалось, будто я ее увидел впервые. Неподвижная и бледная, она лежала, сложив руки, как для молитвы, ее каштановые волосы рассыпались по подушке, она была прекрасна и изящна, словно изображение Мадонны. Темно-красная, практически черная струйка тянулась из левого уголка ее рта через бледную кожу на подушку, и на свежей наволочке расплывалось большое кровавое пятно.

Мне показалось, будто я все это уже видел. Это было словно опера Пуччини, четвертый акт, смерть Мими – о боже, сколько раз мы смотрели это в немецкой опере, когда дирижировал Артур Ротер, Леопольд Людвиг, Шмидт-Иссерштедт! Красные балетки валялись по сторонам кровати, на стуле лежало белое бальное платье, по полу на девичий ма-

нер было разбросано нижнее белье, нежное и розовое, а возле одного предмета белья лежал желтый стеклянный цилиндр, который я поднял и который меня испугал. Слева и справа от надписи на этикетке стояли две здоровенные мертвые головы, которые я до этого видел только на фуражках СС. Череп грозно смотрел пустыми глазницами, под ним были две скрещенные кости, а рядом было написано с двумя восклицательными знаками: «Осторожно, яд!!», и я прочитал слово «сулема», которое мне ни о чем не говорило.

Урсула не была мертва. Она плакала. С ее плотно сжатых губ срывались тихие, сдавленные всхлипы, и, когда она попыталась открыть рот, оттуда хлынула черная кровь и сбилась в толстый комок на белой подушке. Она тут же снова закрыла рот.

Я стоял там, и меня охватило странное чувство покоя и согласия; мне все было предельно ясно. Мне было девятнадцать, я как раз готовился сдавать выпускные экзамены. Как все девятнадцатилетние, я знал куда больше, чем мои родители, краем уха слышал про Гомера и Сократа, учил в школе великие свершения древних германцев и дифирамбы Тацита, и благодаря всему этому у меня было неожиданное преимущество в понимании ситуации. Я молниеносно все понял и подумал: ну разумеется, такое случается. Почему бы человеку не покончить с собой? В воздухе всегда витает что-то такое. Я понимаю тебя, ты не должна мне ничего говорить, стисни зубы, а то польется кровь, и все будет как в опе-

ре Пуччини. Пожалуйста, не начинай петь эти арии про жалость к себе, слушать их не могу, мать так часто исполняла их на рояле в отцовском кабинете: четвертый акт «Отелло» Верди, четвертый акт его же «Травиаты», финальный дуэт «Аиды»: «Закрылся камень роковой надо мною». Мы здесь с этим знакомы. Тут всегда в четвертом акте умирает герой, этого требует наша эйхкамповская драматургия. Никто не произнес ни одного осмысленного слова. Мать время от времени пронзительно вскрикивала от разочарования, а отец беспомощно и взволнованно бегал по крохотной комнатке и категорично заявлял, что это она ему, ему одному причинила такое зло. Мол, это покушение на него. Он определенно никогда не читал Фрейда, ничего не знал про Эдипов комплекс, никогда ничего не слышал про Электру – и все же абсолютно верно связал это дело с собой. В нас проснулись своего рода древний страх и древние воспоминания, своеобразный момент истины посреди опьянения по поводу возвращения восточной марки, и я подумал: ты лежишь здесь, словно изображение Мадонны, но ты словно мужчина, проявивший храбрость. Я завидую тебе, Урсула; ты вырвалась из этой немецкой оперы, которую мы так часто видели в Шарлоттенбурге с дирижером Артуром Ротером. Повсюду разбросаны реквизиты для четвертого акта, исполнители второстепенных ролей сейчас поют необходимые арии про страх, и хор сейчас подведет мораль: так все и есть, так мир, это была ее жизнь, так везде написано. Последний

должен мало-помалу овладеть этой речью.

Внезапно во мне проснулась любовь. Твой поступок сблизил нас. Ты была моей сестрой, не буду лгать, но разве раньше мы это замечали? Странная эта штука – родство. Наша кровь всегда остается внутри нас и не может нас связать. Лишь когда она проливается, Урсула, тогда она нас связывает. Твоя кровь – моя кровь, в это мгновение ты становишься моей сестрой. Мы всегда бежали рядом друг с другом: в «Риволи», в зоопарк, в Груневальд, в немецкую оперу. Я и не знал, что скрыто в тебе. А что ты знала обо мне? Мы шагали рядом, словно марионетки на ниточках, мы не знали друг друга – как могут члены семьи знать друг друга? Семья – это холод, отчуждение, лед, где никто не может сблизиться друг с другом. Слова в семье – просто стандартные формулировки, а семейные разговоры заканчиваются недопониманием: да, нет, пожалуйста, спасибо, чего ты хочешь, что это ты имеешь в виду, это ты что сейчас сказал, да, пожалуйста, я уже иду, выкладывай давай, это что такое, иди-ка сюда немедленно, ну, погоди, мы уже тут и как вообще обстоят дела дома? Дома мы часто обменивались такими формулировками и при этом оставались глухи друг к другу. Только теперь я понимаю тебя. Ты – моя сестра. В смерти мы странным образом стали едины.



Это утро понедельника в марте 1938-го пробудило в нас удивительную и, если можно так выразиться, музыкальную оживленность; никогда я не чувствовал себя в Эйхкампе как дома, пока не умерла Урсула. Плотину прорвало, кирпичную стену снесло, и в одно мгновение в нас проснулась жизнь, великолепная, дикая жизнь, удивительное волнение, и больше ничего не ладилось. Воцарился хаос. У нас всегда все шло своим ходом, все функционировало как по маслу: сон, пробуждение, подъем, завтрак, школьный ранец и поход на вокзал Эйхкампа – в ранце у меня всегда был желтый месячный проездной билет. Вот так и проходила вся жизнь. У меня всегда была тяга к чему-то экстраординарному и чудесному: летний день на Тойфельсзее и множество обнаженных людей, а во мне столько печали – должно быть, это и была та самая жизнь, что я искал, и вот она внезапно оказалась здесь. И эта жизнь называлась хаос.

Моим родителям такое испытание оказалось не по плечу. Разочарованные и растерянные, они бегали туда-сюда, запыхавшись, поднимались по лестнице и, бормоча себе под нос что-то неразборчивое, снова спускались вниз, распахивали окна и вновь закрывали, задергивали занавески и снова их раздвигали. Порой моя мать падала от усталости в свое клубное кресло. Она громко причитала, затем начинала тихо пла-

кать, позже плач переходил в молитву. Из отцовского кабинета доносились «Отче наш» и быстрые пронзительные причитания «Радуйся, Мария». Между тем мой отец, которому никогда не было дела до таких высших материй, искал связку ключей, которая в ходе треволнений куда-то задевалась. И конечно, перед ними обоими предстала загадка, которая была куда хуже и непостижимее, чем новая напасть, приключившаяся с нами семь лет спустя, когда опять в марте, марте 1945-го, английский бомбардировщик тихой взрывной волной навеки превратил наш дом в руины. Должно быть, это был предварительный толчок в узком кругу, интимный сдвиг мировой истории. Когда дело дошло до политики, практически все стало ясным и понятным. А в узком кругу это немыслимо. Семья – штука загадочная.

Мои родители жаловались на судьбу, принявшую такой злополучный поворот. Они говорили об отпрысках семьи и неблагодарности детей и перечисляли свои добрые дела во время мировой войны, инфляции, мирового экономического кризиса. Всегда было молоко, даже в 1923-м, и куплены все учебники, и куча денег на лесную школу, и весь груз воспоминаний, всегда все шло хорошо, везде сейчас дела идут в гору – и какова благодарность: просто отбросить свою жизнь, будто она ничего не стоит. Они сошлись во мнении, что нежелание Урсулы жить дальше – это проявление исключительной неблагодарности, нарушение воли Божьей, как это назвала моя мать, нарушение государственного порядка, как

назвал это мой отец, проявление греховной неблагодарности, по сути, нацеленное исключительно против родителей. Дети должны испытывать к родителям постоянную, неизменную благодарность, а убивающие себя дети, собственно говоря, убивают своих родителей – вот что я услышал, и мне показалось, что в этом последнем обвинении есть крупница истины.

В это утро понедельника мои родители могли действительно с радостью сказать, что у них есть я. В своем разочаровании они бросили Урсулу лежать весь день, они так интенсивно были заняты своим несчастьем, что им даже не пришло в голову вызвать экстренные службы. Поэтому мне пришлось взять дело в свои руки. Я ощущал лишь холод и ясность. Мне было девятнадцать, а действовал я с рассудительностью пятидесятилетнего; голова моя была трезвой. Я четко осознал правду, внезапно возникшую у нас, и сказал себе: сейчас ты должен взять телефонную книгу, найти номер травматологии или больницы, поднять трубку, сообщить о несчастном случае и вызвать машину «Скорой помощи». Ее тут же заберут, возможно, ее еще можно спасти. В конце концов, должен же ты хоть раз позаботиться о своей сестре – вот и сделай сейчас это впервые.

Разумеется, все дело замяли. Когда под вой сирены причалась «Скорая» и люди в длинных халатах с красными крестами с грохотом поднимались по нашей крутой лестнице, моя мать поспешила на улицу, где народ собрался вокруг

машины с красным крестом.

В Эйхкампе очень редко приезжали машины «Скорой помощи». Можно было быть уверенным, что случилось нечто экстраординарное. Однажды, в 1929-м, когда мне было девять или десять, на улице Лерхенвег отравилась одна пожилая женщина. Должно быть, газом, потому что пожарные по громогласной команде забрались по стремянке на стену, не спеша покрутились на крыше и оттуда через какой-то люк забрались внутрь. Я не понял, что случилось, потому что снаружи ничего не было видно, все выглядело как всегда. С тех пор моя мать боялась газа, после этого и начались все эти заморочки с четырехгранным ключом из подвала. Как-то одна супружеская пара наглоталась снотворного: это было в 1934-м. Ходили слухи, что они были евреями, а с евреями, похоже, как раз происходило что-то ужасное. Однажды служанка с улицы Кифернвег задушила своего внебрачного ребенка полотенцем. Эта ужасная весть молниеносно разлетелась по маленькому поселку и предоставила нам неопровержимое доказательство полнейшей порочности низшего класса. Моя мать тогда уволила нашу служанку, поскольку увидела в ней опасность для нас, детей. Она всегда говорила: весь этот сброд из одного теста слеплен. Они все заклеены богом.

И теперь пришла наша очередь. Теперь перед нашим домом в Эйхкампе стояла «Скорая». Была весна 1938-го, дом еще был цел и невредим, выглядел дружелюбно и приветливо, стены дома оплетали дикие лозы, в палисаднике уже на-

чала зеленеть мать-и-мачеха. Пока санитары перекладывали мою всхлипывающую сестру на носилки, мать объяснила собравшимся на улице людям, что это просто аппендицит, что у ее дочери острый и тяжелый случай нагноения слепой кишки. Это прозвучало убедительно, а затем она побежала наверх и в первый раз тщательно вытерла дочери кровь с лица, поскольку, естественно, даже Эйхкамповцы знали, что при аппендиците обычно не течет изо рта кровь.

Затем «Скорая» уехала. Никому нельзя было поехать вместе с Урсолой. Санитары сразу поняли ситуацию, возможно, сразу почуяли что-то запретное, сказали, нужно оставить все в неприкосновенности, они не могут не сообщить об этом происшествии в полицию. Наша зеленая сосновая входная дверь захлопнулась, громко щелкнул новый цилиндрический замок, и внезапно я сидел со своими родителями как в мышеловке. Эйхкамповское лишение свободы: теперь все обнаружится. Перед нами всеми предстала видимость преступления, видимость величия и судьбы. Мы растерянно сидели в наших больших клубных креслах и впервые ощущали в нашей тесной комнатке дуновение большого мира. Как же непостижима жизнь – кто бы мог об этом подумать? Уже больше ни школа, ни юность при Гитлере, ни учение Тацита о германцах не были достойны внимания. Уже больше ни министерство, ни министр Руст и ни множество хороших законов и распоряжений народного государства. Уже больше ни искусство, о котором так мечтала моя мать, ни «Зимний

путь» Шуберта и ни «Песни Везендонк» Вагнера. В наш дом внезапно вошла смерть, и ее величие было нам не по плечу.

Мы сидели там, словно внезапно остановилось время. В этот день мы были словно плохие актеры-любители, исполнявшие на задворках Берлина быструю импровизацию «Электры» и «Антигоны». В наш дом пришла трагедия, и, естественно, с таким текстом мы не справились. Я играл особенно плохо. Я должен был быть глубоко тронут и опечален. Этого требовала роль. Она была моей сестрой. Но я ощущал только злорадный триумф: ну наконец-то. Вот все и вышло на свет. Такова жизнь, именно такова.

* * *

Урсулу доставили в больницу в Вестэнде. Она прожила еще двадцать один день, упорно и ожесточенно сопротивляясь смерти, которую сама же и призвала. Смерть медленно надвигалась из нижней части живота, начиная свой путь промеж половых органов и кишечника, и оттуда медленно ползла вверх. Как объяснили врачи, это был случай тяжелого отравления.

Сулема – это высококонцентрированная ртуть, и если кто наглотается сулемы, то яд попадает в желудок, а оттуда в кишечник. Там он прячется и начинает свое смертоносное разложение. Сулема все разлагает, все превращает в месиво; она превращает нашу плоть в кашу и очень медленно разлагает

органы. Затем она ползет вверх, и когда она добирается до почек, они больше не могут выделять мочу. Моча остается в теле и переполняет его, и когда моча достигает сердца, то сердце останавливается, и это конец. Это называется уремией, и обычно все происходит быстро, но у Урсулы это протекало долго. Она протянула три недели, и это время дало нам возможность медленно осознать несчастье, смириться с катастрофой. Смерть требует стиля, стилю необходимо было сформироваться – как можно осознать смерть без стиля?

Тень преступления быстро отступила от нашего дома. Мой отец позвонил из министерства в полицию, больница в Вестэнде позвонила моему отцу, и затем полиция снова позвонила в больницу в Вестэнде. Дело приняло официальный оборот, и с нас быстро сняли все обвинения. Разумеется, слухи об аппендиците недолго продержались в Эйхкампе. Информация частично просочилась. Пришлось идти на уступки, сначала неясные и двусмысленные; нужно было смириться. Моя мать теперь частенько сетовала на злую судьбу, которая постигла нас, и когда однажды за обедом она внезапно призналась: «Бедное дитя, наша Урсула, как же она настрадалась!» – она была на верном пути.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.